

# Публикации

## Роман о Пушкине. Главы VI, VII, VIII

*Р. Г. Назиров*

*Мы завершаем публикацию черновиков романа Р. Г. Назирова о Пушкине, начатую в 2014 № 4, 2016 № 4 и 2017 № 3.*

### Гл. VI. Гаданье Настасьи Федоровны

#### I.

В одно ноябрьское утро 1820 года в большом доме на углу Кирочной и Литейной улиц беседовали двое. Полная сорокалетняя дама со следами былой красоты принимала молодого щеголя в синем фраке и в жилете с искрой, завитого и напомаженного. На даме был кокетливый пенюар, отделанный белоснежными рюшами. Она была так надушена, что у гипнопотама от этого аромата разыгралась бы мигрень, но ее собеседник был словно лишен обоняния. Комната, где они разговаривали, была украшена портретом графа Аракчеева, кормящего голубей, и представляла собой будуар этой дамы.

— Так вот я и кумекаю, драгоценнейшая Настасья Федоровна, что ежели его сиятельству так с бухты-барухты все сразу выложить, так оно может и здоровью повредить: желчь там какая али в голову бросится. . .

— Экой вздор ты мелешь, Николаша: граф крепок.

— Дай бог, дай бог ему здоровья и долгой жизни, а все ж таки, золотая моя Настасья Федоровна, ежели вдруг прочтет, так оно, пожалуй, и того. . .

— Что?

— *Воздосадует-с!* — с ужимкой прошептал молодой человек.

Несколько мгновений собеседники молча смотрели друг другу в глаза, потом дама с нетерпением вскричала:

— Да что ж это за стишки такие? Пра-слово, милоч, никак мне в ум не взойдет, кто эдак-то насмелится графа задеть. Али о двух головах? Слыхано ли дело: государь у нас бывает, великие князья приема ждут, министры шалку ломают, а тут вишь *стишки!* Ты сам-то читал?

— Читал, брильянтовая, кабы не читал, так и не заикался бы о том. . . Кабацкие поносные стишки, а слов тех и передать не смею.

— Говори не бойся, мы одни.

— А неровен час кто подслушивает?

— У меня не подслушивают, — ответила дама с энергичной усмешкой, — кто у меня подслушивал, давно на погосте гниет. Говори, какие слова там пропечатаны!

Молодой человек нагнулся к самому уху дамы и шепнул:

— «Тиран»...

— Ишь ты! — пробормотала ошеломленная дама.

— «Злодей»...

— Быть не может!

— А еще... Нет, не смею.

Дама схватила молодого человека за напояженный кок и несколько раз дернула. Несмотря на эти сильные колебания, молодой человек успевал со сладостной наглостью улыбаться в полураспахнутый пеньюар дамы.

— Говори! — приказала она.

— «Подлец», — нежно шепнул молодой человек.

Дама была так поражена, что сразу выпустила волосы собеседника. На щеках ее выступили красные пятна.

— Цензора на губвахту, сочинителя в крепость, — проговорила она, думая вслух. — Экое нахальство! Привези мне, Николаша, к завтраму книжку да сведай про сочинителя, какого роду-звания, где служит, имеет ли сильную руку при дворе.

А графу я *упреждение* сделаю, а то и впрямь кондрат хватит.

Она дернула шнурок советки и протянула молодому человеку для поцелуя пухлую красноватую руку, пальцы которой были унизаны бриллиантовыми перстнями. Вошла бледная горничная.

— Никак спала, шалава? — обратилась к ней дама. — Аль в рогатку захотела? Одеваться! А ты, Николаша, прощевай до завтра, дело безотложное, ворон считать некогда — все вызнай и привези мне *то*, сам знаешь что.

— Исправлю в точности, повелительница!

## II.

Настасья Федоровна, «хозяйка» графа Аракчеева, была сильно не в духе.

Тяжелой поступью, звеня связкой ключей, обошла она дом, щедрее обычного раздавая суровые наказания. Как и всегда, особенно доставалось от неё женщинам и более всего — молодым и красивым. Весь дом задрожал и затаился.

Граф Алексей Андреевич прислал курьера с извещением, что не будет к обеду, но вечером могут быть гости. Шло заседание Государственного Совета, ради которого они с Настасьей Фёдоровной и приехали из Грузина.

Настасья Федоровна отдала все необходимые распоряжения, приняла курьера, но отослала на завтра модисток.

Молодой полковник Клейнмихель, любимец графа, некогда его адъютант, а теперь начальник штаба Управления военных поселений, прибыл с подарками для Настасьи Фёдоровны. были в основном жемчуга, мелкие алмазы, немного рубинов, пара изумрудных серег, но ведь дорог не подарок, дорого внимание, а прислали все это хорошие люди, и стоило им помочь. . . Разговор был окончен, но Клейнмихель не уходил и казался смущенным. Настасья Фёдоровна спросила напрямик:

- Ну что ужимаешься, Петр Андреич, небось о стишках сказать робеешь?
- Кудесница! — вскричал Клейнмихель. — Как вы узнали?
- Да уж узнала, насквозь тебя вижу. Сказывай, кто таков сочинитель?
- Какой-то *Рылёв*, — отвечал полковник.
- Откуда он?
- Кажись, отставной, из армейских.

Настасья Фёдоровна, хорошо знавшая честную глупость полковника, не стала настаивать на продолжении разговора.

К вечеру она выработала определённый план и успокоилась. Дом был натерт, вылизан, освещён. Хозяйка пообедала в одиночестве.

В промозглых петербургских сумерках послышался звонкий топот копыт и стук колёс. Ей не нужно было выглядывать в окно, чтобы узнать карету графа. Она поднялась с дивана и пошла ему навстречу.

Граф Алексей Андреевич Аракчеев в своём мундире генерала-от-артиллерии и всех орденах вошёл быстрой, деловой походкой и поцеловал Настасью Фёдоровну:

- Здорова ли, ангел мой?

Ему было пятьдесят лет с небольшим, этому полновластному другу императора Александра. Внешность графа Аракчеева, с его рыжими волосами и коротки, наподобие щетки, стриженными волосами, один мемуарист охарактеризовал лаконичной, но не лишённой живописности формулой: «дикобраз».

- Устал я от этих растабаров, Настя, — сказал граф.

— Так отдохни, милый друг. Сама тебе постелю на зелёном диванчике. Может, поищемся?

— Куды там! Через час к тебе Кочубей приедет чай пить. Напросился. По тебе, вишь, соскучился. . .

Граф презрительно фыркнул носом. Подражая ему, Настасья Фёдоровна саркастически усмехнулась. Оба радовались визиту графа Кочубея, но проявить свою радость значило бы отступить от неписанного домашнего этикета.

Граф Виктор Павлович Кочубей, правнук знаменитого доносителя на Мазепу, был самым гибким из всех царедворцев России. Человек неслыханной карьеры, в 30 лет вице-канцлер, он был не только хитер, но и дальновиден: в конце 1799 года он отказался от брака с Анной Лопухиной, фавориткой императора Павла, впал в немилость, скрылся в свою Диканьку, а потом и за границу. Узнав в Дрездене об «апоплексическом ударе», поразив-

шем Павла, он тотчас примчался в Петербург, где молодой император Александр ласково принял своего друга и сделал министром внутренних дел. Кочубей возвысил Сперанского, но после Тильзита взял отставку «по болезни»: он был одним из вождей английской партии русского двора. В 1819 году умер от чахотки Козодавлев, и вакантный портфель был предложен Кочубею. Он принял министерство внутренних дел, но со званием управляющего и сохранил место председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, которое было выше министерского поста.

Этот блестящий вельможа в свои 52 года был еще весьма импозантен и почти красив. Его аристократическая гордость не мешала ему запросто ездить к «Насъке» пить чай. Союз с Аракчеевым был важнее улыбок света.

В тот ноябрьский вечер Кочубей казался в ударе и забавно рассказывал по-русски французские анекдоты, излагая их как можно доступнее для хозяев (граф Аракчеев не знал никаких иностранных языков и плохо знал даже русскую грамоту) ужинали в малой столовой, стол сиял хрусталем и фарфором. Настасья Федоровна была одета в бархат и кружева, ее куафюра казалась безупречной; она переложила румян, но при свечах это оставалось не так уж заметно.

— Кавалер де Сен-Люк читал в кафе Валуа свой журнал, как вдруг подходит к нему незнакомец и говорит: «Простите, государь мой, что беспокою вас, но скажите мне, с вами или с вашим братом я сейчас имею честь разговаривать?» На что кавалер сей же час отвечивал: «Милостивый государь, вы говорите е моим братом!»

Настасья Федоровна залилась бисерным смешком; граф Аракчеев немного подумал и решительно захохотал.

С наилучшем настроении маленькое общество перешло в салон. Хозяин предложил Кочубею сыграть в карты.

— Но у нас не хватает партнеров, — возразил удивлённый Кочубей.

— За этим дело не станет!

Аракчеев вызвал дежурного адъютанта и приказал немедленно послать двух полнейских офицеров к жившему по соседству сенатору и одному артиллерийскому генералу.

— Передать, что зову их повечерять, да поживее.

Адъютант брякнул шпорами и исчез. В непринужденной болтовне прошло еще минут двадцать, и Литейную улицу огласили подъезжающие кареты. В салон, улыбочиво моргая и потирая руки, во фраке со звездой, вошел плешивый сенатор, за ним явился генерал. Граф Аракчеев самолично распечатал колоду карт (он любил карты). Настасья Фёдоровна распорядилась добавить свету.

Кочубей больше острил, чем играл; плешивый сенатор, человек дошлый и догадливый, искусно проигрывал. Из кресла графа Аракчеева слышалось довольное сопение. Он даже вступил в состязание с Кочубеем, вышучивая сенатора: выигрывая, граф Алексей Андреевич становился почти остроумным!

Вместе сенатор и генерал проиграли двадцать червонцев, и тогда хозяин положил карты. Каминные часы с бронзовым Хроносом, вооруженным косой, пробили десять. Солидным людям пора было подумывать о расставании. В этот момент Настасья Федоровна взяла карты и стасовала их:

— А не погадать ли вам, граф Алексей Андреич?

На лицах гостей мелькнуло любопытство. Аракчеев метнул быстрый взгляд на Кочубея, но нет — тот не смеялся.

— Моя Настя для меня что ангел-хранитель, — сказал хозяин. — Ее предсказаниям я обязан жизнью. Тому два года она нагадала, что у одного рядового в батальоне, назначенном к смотру, ружье будет заряжено. Я поехал, обхожу первую шеренгу, останавливаюсь перед вторым с левого фланга: мерзавец посинел. Быстро команду ему изготовку и в поле пли! Главное — быстро, не давать ему думать. Тут он и грохнул. Взять! Раз-другой по зубам: «На кого зарядил, барабанная шкура?» Сразу признался.

— Неужто на ваше сиятельство? — с тихим ужасом спросил сенатор.

— Вестимо, — гордо ответил граф Аракчеев. — Спасибо Насте!

— А злодей?

— А что злодей? Полевой суд — и в палки: прошел половину улицы. Погребен по-христиански. Дело-то ясное.

— По сю пору как вспомню, так вся дрожу, — музыкально призналась Настасья Федоровна. — Оставимте этикие страсти к ночи, граф.

Кто бы мог сказать, что эта горлица приказывает пытать людей и самолично присутствует на пытках? Глядя на ее руки, ловко раскладывающие карты, Кочубей вспомнил о недавних темных случаях, о дворовых девках, покалеченных вот этими самыми руками, простонародную красноту которых не мог отмыть никакой огуречный рассол. Но вслух он этого не сказал, а только любезно припомнил знаменитую парижскую гадалку Ленорман, которая в своё время предрекла Жозефине императорский венец.

Наступило молчание.

— Ожидает вас, граф, нечаянная радость от червонного короля, — начала Настасья. — Однакож это потом, а допрежь радости. . .

Она поколдовала с картами и картинно затуманилась.

— Допрежь радости выходят вам докука и хлопоты.

Аракчеев улыбнулся и побледнел.

— Пиковые хлопоты — вражьи наговоры.

— Понимаю! — вскричал грани. — Это Голицын-суевер!

— Нет, граф Алексей Андреич, не с того боку карты лежат. Не Голицын и не иной кто с царского двора, а кто-то малый, ровно клещ кусачий. По картам всего не разобрать, но видать — продерзостный.

Она еще раз раскинула.

— А нечаянная радость выходит за обиду в награждение.

Аракчеев растерянно смотрел на карты. Что ж это за обида? И кто «малый» может обидеть *его*, графа Аракчеева? Он встал и, заложив руки за спину, пробежался взад-вперед по салону.

— А когда ж это будет, Настя?

— Завтра, граф Алексей Андреевич.

Кочубей в удивлении следил за волнением графа Аракчеева. Сенатор в испуге стал откланиваться.

Вечер был испорчен.

### III.

На другой день Николаша привез Настасье Федоровне 10-й номер «Невского зрителя». Он купил в лавке Сленина последнюю книжку журнала. Настасья Федоровна, хоть и была из «простых», грамоту разумела. Схватив журнал, она начала вполголоса читать указанное Николашей стихотворение:

— «К *временщику*. Подражание Персиевой сатире “К Рубеллию”». Что за Персиев?

— Какой-то латынский стихотворец, нынче все им подражают. Только это не взаправду подражание. . .

— А, для отводу глаз? — она поняла.

Надменный временщик, и подлый и коварный,  
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,  
Неистовый тиран родной страны своей,  
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!  
Но прочесть далее она не успела.  
В глубине дома раздался раненого крик верблюда.  
Настасья Федоровна вскочила с дивана.

— Узнал! — вскричала она. — Сгинь! Уходи чёрным ходом! Граф сей минут будет здесь!

Николаша исчез. Она еще успела спрятать журнал за диванную подушку. В анфиладе комнат показался граф Аракчеев. Он шествовал походкой лунатика, в руке его болтался «Невский зритель»: граф нес книжку за уголок, словно портянку. Войдя в будуар, он подал книжку Настасье Федоровне и упал в кресло. — Вот те и пиковые неприятности, — сказал он.

С трудом удалось Настасье Федоровне выяснить, что «Невский зритель» был прислан графу в утренней почте. Над заглавием сатиры «К временщику» неизвестный доброжелатель сделал каллиграфическую надпись: «Гр. Аракчееву».

Граф был жалок. Он не понимал, как могло увидеть сие мерзкое сочинение.

Он испугался.

Особенно зловещими показались ему намеки во второй половине сатиры;

Тиран, вострепещи! родиться может он,  
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон. . .

При всем своем сугубо артиллерийском образовании граф знал, что Кассий и Брут — это злодеи, некогда зарезавшие Кесаря.

— Дело швах, Настя! Кто-то из больших науськал на меня этого писаку. Не иначе, как перемену чуют, псы шелудивые!

— Полноте трусу праздновать! — прикрикнула Настасья Федоровна. — Не бывать перемене! Езжайте во дворец, повдайте наших людей, зовите в гости! надобно узнать, откуда ветер дует. . . Нет ли каких вестей от Батюшки из Австрии?

Ее энергия постепенно передавалась графу. Бранью и поцелуями она возвратила ему присутствие духа, пристыдила, одела и прогнала в Зимний — взять пробу воздуха, как ска-зали бы мы сегодня.

— Сочинителя под суд! — твердо сказала она. — Как бишь его. . .

Граф толстым пальцем перекинул страницу журнала и посмотрел.

— Рылеев, — с отвращением сказал он. — Никогда не слышал.

И помчался во дворец.

Отставной подпоручик Кондратий Рылеев, двадцати пяти лет, недавно приехавший в Петербург из Воронежской губернии, заснул как-то вечером безвестным провинциалом, а поутру проснулся столичной знаменитостью.

В октябре 1820 года разыгралась Семеновская история. Командира Семеновского полка в гвардии называли не иначе, как «эта скотина Шварц»; однако возмущение было подавлено беспощадно. Глухая ненависть общества к графу Аракчееву не имела голоса. Внезапно этот голос раздался: послание «К временщику», под которым стояло имя Рылеева, прозвучало криком ярости против непогрешимо-зверской системы графа Аракчеева. Петербург оцепенел от изумления.

Стилизованная под античное послание и слегка замаскированная несколькими древнеримскими именами, сатира прозрачно описывала карьеру графа, намекала на военные поселения и с неслыханной яростью поносила временщика.

— Как ее пропустили? — дивился свет. — Подражание Персию — ха-ха-ха!

— Цензор слетит непременно.

— Но каков этот Рылеев! На кого замахнулся! Сумасшедший, не иначе. . .

— Он еще не взят?

— Да нет, его видели на Невском.

Видать, «Сила Андреич» оставил его погулять денька три.

— Не сегодня-завтра возьмут голубчика — и *к апостолам!*

Имелись в виду апостолы Петр и Павел, церковь которых дала наименование Петербургской крепости.

Прогуливаясь по Невскому, Рылеев замечал, как на него украдкой показывают прохожие. Приличные господа и дамы оборачивались на него с выражением жадного любопыт-

ства и ужаса: такое выражение лиц бывает у толпы при публичных казнях. Некоторые из знакомых при виде его перебегали на другую сторону Невского.

Но ожидаемые кары медлили над его головой.

Вместо жандармов к нему нагрянуло в гости несколько гвардейских офицеров и статских, в их числе друзья недавно сосланного Пушкина, с шумом, поцелуями и шампанским. После шампанского декламировали во все горло сатиру «К временщику»:

Тогда вострепещи, о временщик надменный!

Народ тиранствами ужасен разъяренный!..

Захмелевший Дельвиг обнял Рылеева:

— Какое счастье, дурачком поединке!

— Еще большее счастье, что я не застрелил его! — смеясь, возразил Рылеев.

Он был счастлив.

Время шло. Никто его не трогал. Петербург недоумевал, почему Аракчеев не раздавит дерзкого безумца. Сразу после появления сатиры правитель уехал в Грузино.

Граф хотел отдать Рылеева под суд, но тем сам он признал бы, что слова «тиран», «злодей», «подлец» приняты им, графом Аракчеевым, на свой счет. Предание поэта суду стало бы распиской в получении пощечины. Граф был не так глуп.

Успокоенный тем, что сатира вовсе не была предвестием опалы, граф сделал вид, что она к нему не относится. В журналах кишели подражания древним, переводы из Горация и — как там его — Овидия, всякие Дориды, Пиндоры и Оссияны. Мало ли что выищется стихоплет в руинах латинской словесности!

Граф сидел у себя в Грузине и вел переписку с государем. Тот не верил, что «происшествие» в Семеновском полку вызвано лишь жестоким обращением полковника Шварца с солдатами: «тут кроются другие причины». Государь предполагал «внушение» со стороны. «Я его приписываю тайнам обществам, которые, по доказательствам, которые мы имеем, все в сообщениях между собою, и моим весьма неприятно наше соединение и работа в Тропау. Цель возмущения, кажется, была испугать».

Государь полагал, что карбонарии подстроили возмущение в Семёновском полку, дабы сорвать конгресс Священного Союза в Тропау! Настоящее объяснение казалось ему слишком простым.

18 ноября 1810 года граф Аракчеев отвечал государю из Грузии:

«Я совершенно согласен с мыслями нашими, что солдаты тут менее всего виноваты и что тут действовали с намерением, но кто и как, то нужно для общего блага *найти* самое оно начало. Я могу ошибиться, но думаю так что сия их работа есть пробная, и что должно быть осторожным, дабы еще не случилось чего подобного».

В карбонариев он не верил, но рекомендовал осторожность.

В Петербурге толковали о неополитанской революции, о новостях со Святой Елены; декламируя Пушкина или Рылеева, уже совсем не запирали дверей. Проезжая по Литейной

и любуясь на фронто́не известного дома графским гербом и девизом «Без лести предан», молодые люди посмеивались и вспоминали разъяснение Пушкина: *кому* предан граф Аракчеев.

Даже самая сильная власть, если о ней рассказывают на улицах непотребные анекдоты — обречена.

## Гл. VII. Воспаряющие и бесноватые

### I.

У Тургеневых кипел жестокий спор. Люди размахивали руками, срывали голоса и ссорились.

— Но почему бы этому и не быть правдой? — воздевая руки, спрашивал Александр Тургенев. — Помилуйте, кто ж, если не Тезка, заставил Лудовика Восемнадцатого октроировать Хартию?

— Ваш Тезка — тонкая бестия! — кричал Пушкин, забывая в горячке спора, что речь идет и об *его* тезке. — Куда деваться во Франции, где покупщики национальных имений готовят вилы и топоры на воротившихся эмигрантов, а наполеоновы офицеры на половинном жалованье только и ждут заварухи! Да без Хартии Бурбонам не усидеть на престоле!

Спорили не только у Тургеневых. В Варшаве 15 марта 1818 года открылся первый сейм послевоенного Царства Польского, и в своей тронной речи император Александр, он же царь Польский, произнес обещание конституции для всей империи.

— Не верю! — повторял Пушкин. — Без крови матушка Русь не достигнет вольности и новых законов, основанных на естественном праве.

— Наша noblesse не отдаст по доброй воле свои пергаменты, — поддержал его Николай Тургенев, — и не откажется от своих позорных привилегий. Мы должны заставить государя упразднить навеки рабство народа.

— Убедить, а не заставить, — мягко поправил старший браг.

В свете еще не выветрились толки о тайном республиканстве государя. Сперанский был два года назад назначен пензенским губернатором. Как ни странно, самого либерального русского деятеля старался вытащить из ссылки не кто иной, как граф Аракчеев. «Попович» был ему нужен как союзник против Голицына, неожиданно вошедшего в большую силу. Аракчеев и Голицын вели отчаянную борьбу за влияние на государя.

Голицын, министр просвещения и духовных дел, стал поверенным души Александра; к его партии принадлежал и крайне непопулярный Гурьев, министр финансов. Политические салоны Петербурга увязали в тине: мнения перекрещивались, симпатии путались с антипатиями. Голицын был смешон со своим Библейским обществом, но под крылом у него зрели проекты отмены крепостного права.

Министр-ханжа вошел в сношения с лондонским Библейским обществом, в Россию налетели английские миссионеры. Под их руководством возникло Русское Библейское общество,

принявшееся печатать и рассылать библии в переводе на разные языки народов России. Голицынская партия склонилась на свою сторону нескольких высших иерархов православной церкви, в том числе архиепископа Филарета. Принадлежность к Библейскому обществу стала гарантией карьеры.

В свете входила в моду печальная бледность и торжественный тон, цитирование библии и рассуждения о «внутреннем человеке». Со стен своих кабинетов вчерашние вольтерьянцы убрали зеркала и заменили их раскрашенными картинками с изображениями пронзенного стрелами сердца и креста; Бокаччо, Брантом и Вольтер переселились на чердаки, а их место заняли книги Эккартсгаузена и Юнга-Штиллинга. Все знали, что сам государь укромно почитывает Штиллинговы сочинения, где проводилась идея ненужности духовенства и наружных обрядов церкви. Голицынские неопиты проклинали «ложную филантропию XVIII века», с восторгом пересказывали

пророчества знаменитого Никитушки в кружке Татариновой и плодили слухи о чудесах. Внеисповедное христианство стало модой, хлысты и скопцы свободно действовали в Петербурге, и полиции было запрещено нарушать их радения. Масонские ложи росли, как грибы после дождя, и масон Лабзин издавал мистический «Сионский вестник». Вслед за государем высшее общество впало в мистицизм.

А директором департамента духовных дел, вдруг ставшего одним из важнейших в правительстве, и секретарем Библейского общества явился образованнейший и милейший человек — Александр Иванович Тургенев. В его доме собирались друзья его младшего брата и составляли планы великих перемен.

Пушкин был своим человеком у Тургеневых и вел бесконечные философские беседы с гусаром Чаадаевым. Тот был из числа гвардейцев, которые победили Наполеона, но были побеждены французским либерализмом; они вводили в общество совсем новый тон. Впрочем, Чаадаев тоже был религиозен на свой салтык:

— Русская церковь лежит в параличе, — говаривал он, — религиозное чувство народа сможет воскресить только Рим.

Чаадаев жил в гостинице Демута и посвящал Пена в тонкости европейской политики; он один мог заменить целый университет. Пушкин кутил, гонялся за доступными женщинами, стрелялся на безвредных дуэлях и брал у Чаадаева книги на английском языке, который начал изучать самостоятельно, чтобы читать в подлиннике Шекспира и Байрона.

Чета Карамзины и Жуковский протектировали чудесного ребенка и пытались как-то образумить, дабы сделать его беспутную жизнь более осмысленной. Поэт смиренно принимал их отеческие выговоры и назидания, клялся исправиться и, заливаясь слезами раскаяния, шел играть в банк или волочиться за первыми встречными красотками.

Петербург уже заметил его небольшой характерный силуэт, шляпу с прямыми полями а la Bolivar и широкий верный фрак а l'american (с нескошенными фалдами); он ходит с тростью и порою жонглирует или фехтует ею. Он отличный фехтовальщик, один из лучших учеников славного Вальвиля.

Тогда-то, в 1818 году, он является к королю театралов Катенину и подает ему свою трость:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: *побей, но выучи!*

— Ученого учить — портить, — ответил Катенин, и с этого дня началась их дружба.

## II.

Одним из самых благородных и высокопарных умов столицы был ветеран наполеоновских войн, масон Федор Глинка. Он приобрел литературное имя «Письмами русского офицера» и в 1816 году был избран вице-председателем Вольного общества любителей российской словесности. Пушкин познакомился с ним сразу после выхода из лицея.

Молодой поэт уважал этого умного гвардейца и ценил его золотое сердце. Глинке даже удалось отвести его от одной дуэли. Но тяжело выработанных стихов Глинки, большею частью проникнутых религиозной экзальтацией, Пушкин в грош не ставил.

— Бедный Глинка, от его стихов пахнет маслом, — сказал за вином Каверин, имея в виду трудолюбивую вымученность стихов, свидетельствующую о бескрылых ночных бдениях.

— Лампадным маслом, — уточнил Пушкин.

Но в 1818 году этот чудаковатый Глинка, мистик и филантроп, был одним из первейших заговорщиков в Петербурге.

Член Союза Спасения, богомольный Глинка не верил императору Александру, как и Пушкин.

Глинка планировал гвардейский переворот.

Он мыслил категориями прошлого столетия. Он собирался — ни более, ни менее — повторить успех 1762 года, когда гвардия низвергла Петра III и возвела на российский престол его опальную супругу Екатерину, связанную с гвардией специфическими узами.

В 1818 году ситуация казалась совершенно тождественной той, которая предшествовала перевороту 1762 года: добрая императрица, с которой венценосный супруг давно прекратил близкие отношения, недовольная гвардия и все более непопулярный государь. Глинка пропагандировал среди надежных людей идею отречения Александра I и единоличного царствования Елизаветы Алексеевны.

Едва услышав о заговоре Глинки, Пушкин пришел в неистовый восторг. Он дал заговорщику все необходимые клятвы и был посвящен в детали плана. Политическая сторона дела в душе Пушкина сливалась с романтической, ибо кроткая и приветливая красота императрицы возбуждала в нем чувственное обожание.

— Ах, какою она будет царицей! — говорил он с краской энтузиазма в лице. — Ангел на престоле — такой самодержицы не сыщешь нигде, кроме как в сказках!

— Но главное — мы сможем обойтись без пролития русской крови, — замечал добрый Глинка.

— Как? Разве вы не желаете отрубить голову Змею с Литейной улицы?

— Можно будет сослать его в Тобольск полицеймейстером..

По просьбе Глинки, считавшего необходимой печатную пропаганду имени Елизаветы Алексеевны, Пушкин написал чудесное лирическое признание:

На лире скромной, благородной  
Земных богов я не хвалил...

«Смиряя» свою аристократическую независимость, он возглашал:

Но признаюсь, под Геликоном,  
Где Касталийский ток шумел,  
Я, вдохновенный Аполлоном,  
Елисавету втайне пел.  
Небесного земной свидетель,  
Воспламененною душой  
Я пел на троне добродетель  
С ее приветною красой.  
Любовь и тайная свобода  
Внушали сердцу гимн простой,  
И не подкупный голос мой  
Был эхо русского народа.

В этом удивительном стихотворении было столько же политики, сколько юношеской влюбленности.

Глинка напечатал его в своем журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», в октябрьском номере за 1819 год, снабдив длинным заголовком: «Ответ на вызов написать стихи в честь Ея Императорского Величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны».

Еще задолго до публикации этого стихотворения Жуковский знал его едва ли наизусть. Особенно поразили его последние строки:

И неподкупный голос мой  
Был эхо русского народа.

— Какую правду он говорит! — шептал Жуковский. — Он сам не знает, какую правду он говорит!

### III.

Весной 1818 года Константин Батюшков уехал лечиться на Юг. Он поддерживал переписку с петербургскими друзьями и был в курсе столичных новостей. Извещенный о буйной жизни Пушкина, он писал Александру Тургеневу 10 сентября 1818 года:

«Не худо бы Сверчка запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикой. Из него ничего не будет путного, если он сам не захочет; потомство не отличит его

от двух его однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство. Кн. А. Н. Голицын московский промотал 20 тыс. душ в шесть месяцев. Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!»

Батюшков вспомнил в своём письме напумевшую московскую историю начала века, герой которой умер как раз в 1817 году. Князь Александр Николаевич Голицын, прозванный «Cosa rara» («Редкая штучка») — по названию очень популярной оперы Мартини, камергер, владелец 24 тысяч душ, прославился фантастическим мотовством: ежедневно отпускал своим кучерам шампанское, сотенными ассигнациями зажигал гостям трубки, подписывал не читая заёмные письма, на которых сумма была обозначена цифрами, что позволяло затем приписывать к ним лишние нули. На одной из своих пиров он поднёс даме, фавёров коей домогался, 600 тысяч рублей золотыми полуимпериями. Жена его не вынесла такой жизни и ушла от него к другому богачу, более спокойному — графу Льву Кирилловичу Разумовскому. В 1801 году она получила развод, а в 1802 был оформлен её брак с графом Разумовским. Голицын сохранил дружбу с Разумовским, часто обедал у своего бывшей жены и нередко показывался с ней в театре; князь был человек любезный, весёлый и тонко образованный. Он был не «бесноватым», а скорее un гоце прошлого столетия.

В свете говорили, что он, промотав состояние, *продал* жену графу Разумовскому и живёт теперь на пенсион, выделенный ему от щедрот графа (по другим слухам, этот пенсион ему выдавали его племянники князя Гагарины). Его «проданную жену» свет избегал, пока на одном из московских балов государь не подошёл к ней и не пригласил на полонез, громко назвав графиней. После этого за ней признали имя и титул графини Разумовской.

Лев Кириллович ненадолго пережил князя Голицына: он умер в 1818 году, и вдова этих двух богачей уехала за границу. Говорили о её «бегстве» от общества.

Другой великосветской новостью 1818 года был брак Натальи Кочубей со Строгановым. Этот брак имеет большее отношение к нашему рассказу.

Молодая графиня Наталья Викторовна Кочубей, дочь друга и любимца государя, посещала лицей в ту пору, когда Пушкин бил ещё его воспитанником. Красота этой надменной девочки поразила юного поэта: некоторые из его товарищей-лицеистов полагали, что Наталье Кочубей он посвятил своё стихотворение «Измены». Встречая её в свете после выхода из лицея, Пушкин лишь издали любовался ею: он успел прослыть «дурным человеком», *le mauvais sujet*, и дверь Кочубеев была закрыта для него. Теперь семнадцатилетняя Натали Кочубей вышла за Александра Строганова, артиллериста: этот молодой граф успел-таки принять участие в наполеоновских войнах, чему Пушкин всегда завидовал. В день их бракосочетания Пушкин незамеченным стоял в толпе возле церкви и видел, как прошла в пышной процессии очаровательная Натали об руку со своим надутым женихом. В тот две вечера Пушкин напился у Всеволодских и увлёк всю компанию в весёлое заведение.

Хотя он был в Петербурге из самых «бесноватых», иные умники отличали его. Обществом «умных» называли группу гвардейской молодёжи, которая придерживалась строгих правил и важно рассуждала о палатах, хартии, политической экономии. Они явля-

лись на балы, не снимая шпаг, поскольку считали танцы ниже своего достоинства и дамами не занимались. Совершенно чуждые придворной мистике, они однако были серьезнее самых высокопарных толкователей Юнга=Штиллинга. Среди «умных» выявлялись Илья Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев. Генерал Орлов и Павел Киселев были в приятельских отношениях с «умными». И все эти люди, в отличие от благоразумного Батюшкова, отнюдь не считали необходимым запретить Пушкина в Геттинген.

#### IV.

Аахенский конгресс Священного Союза осенью 1818 года принес, казалось бы, вполне утешительные плоды. Император Александр выступал на конгрессе за вывод из Франции оккупационных армий и за умеренную ориентацию французской политики. Франция присоединилась к союзу европейских монархов. Газеты всей Европы снова прославляли великодушного «владыку Севера».

Он возвращался в Россию в декабре 1818 года, под самое рождество. По случаю такого совпадения Пушкин написал святочное действо, или «Noel», а вернее — пародию на подобные писания:

Ура! в Россию скачет  
Кочующий деспот.  
Спаситель горько плачет,  
А с ним и весь народ. . .

Пушкин издевательски пародировал обещания закона и человеческих прав, которыми государь император кормил русское общество, изнывавшее под игом Аракчеева.

«Noel» кончался словами девы Марии к младенцу Христу.

А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;  
Пора уснуть уж наконец,  
Послушавши как царь-отец  
Рассказывает сказки».

Как было со всеми стихами молодого поэта, «Noel» тотчас же начал распространяться в рукописных копиях. Все благонамеренные друзья Пушкина схватились за голову. Все набожные и воспаряющие духом крестились и отплевывались от ужасного кощунства: как можно смешивать Христа и богоматерь с карбонаризмом?

Зато молодежь была в восторге. Никто еще не наносил авторитету монарха таких лихих ударов.

Пушкина нельзя было унять. Он упивался своей новорожденной славой и обходился с нею, как удачливый игрок с шальными червонцами. В салонах, кофейнях, ресторациях и театрах трубила молва:

— Пушкин написал «Noel»! Читали?

— Пушкин стрелялся с Кюхелем! Слыхали?

— Не может быть, они друзья!

— Он ничего не знает! Да в том-то вся штука, что друзья! Кюхельбекер бешеный обиделся на дружескую шутку и вызвал Пушкина, а секунданты, тоже их общие друзья, сговорились и зарядили пистолеты клюквой... Смекаете? При первом же выстреле Пушкин упал, и клюква на рубашке, Кюхельбекер думал, что убил Пушкина — крик, вой — на грудь ему кинулся! А Пушкин как схватит его: «Полно-те выть, айда вино пить!»

Гремел здоровый хохот, у слушателей глаза горели от восторга. А тем временем по рукам пошла новая шутка Пушкина — «Ты и я».

Ты богат, я очень беден;

Ты прозаик, я поэт...

Пушкин последовательно развивал сравнение своего скудного образа жизни с эпикурейством неназванного ленинца, живущего «в огромном доме», и завершал это озорной концовкой:

Окружен рабов толпой,  
С грозным деспотизма взором,  
Афедрон ты жирный свой  
Подтираешь коленкором;  
Я же грешную дыру  
Не балую детской модой  
И Хвостова жесткой одой,  
Хоть и морщуся, да тру.

Это было неслыханно: так, наверное, французы с пряными шутками разбирали свою Бастилию в 1789 году. Недаром Пушкина в лице прозвали Французом! Он не только владел французским языком, как родным, но и по духу был наполовину француз. Дитя двух культур, он внес в общественную жизнь столицы то бесшабашное французское легкомыслие, которое четверть века назад играло коронами и сокрушало стотысячные армии.

Император Александр ничего еще не знал об этих стихах и эпиграммах, однако чувствовал, как меняется настроение общества. Знаменитая пленительная улыбка все реже брезжила на его изнеженном лице, вялая кровь медленнее обращалась в жилах. Призрак Кутузова вновь тревожил его нечистую совесть:

— Михайло Ларионыч, простишь ли ты меня?

— Государь, я-то прощу, да простит ли Россия?

Император устал. Главным его занятием стала молитва.

## Гл.?<sup>1</sup>

### I.

<...>

...<...спросил цыган Пуш>кина:

— Когда опять пойдёшь с нами в степь, дарагой Пушкин?

— Когда цветы снова зацветут, душа моя, — смеясь, ответил Пушкин.

— Не забывай нас, брат! — проводил его цыган, махая шапкой.

Пушкина знал весь базар. Когда он приехал в Кишинёв два года назад и ещё бродил чужаком по этому пёстрому городу, он всякий раз брал с собою из дома заряженный пистолет. Теперь надобность в оружии отпала. Весь Кишинёв распевал его «Чёрную шаль», и простой люд знал и любил Пушкина. А знатные кишинёвские бояре боялись его, помня, как он разбил физиономию чванному Тодору Балшу. Пушкин больше не носил при себе пистолета, но не расставался с железной палкой, весившей 18 фунтов. Он часто фехтовал на эспадронах в городском саду и достиг такой ловкости во владении любым оружием, что все кишинёвские забияки или талгары (разбойники) с уважением косились на его железную палку.

— Старухе легко было вам предсказывать, любезнейший Александр Сергеевич, — сказал Стамати. — Все цыгане уже наслышаны о ваших неладах с большим белым человеком, который живет в Северной Пальмире и ездит на белой лошади... Старуха имела в виду царя.

— Мой дорогой Стамати, — ответил Пушкин. — Может быть, старуха схитрила, а может быть — открыла мне тайну, подсказанную свыше. Простите мне эту слабость — я суеверен. Читали вы «Гамлета»?

— Только по-французски.

— Французы не понимают и не любят Шекспира. У него датский принц говорит другу, что в мире его немало чудесного, что и не снилось нашим философам. Дивный, великий наш мир! Как много мы в нём ещё не понимаем! Но не в этом ли половина его прелести?

— Свободны вы сегодня вечером? — спросил Стамати. — Приходите ко мне на ужин — будут наши литераторы, будет Костака Негруцци...

— У меня свидание с одной особой, — сказал Пушкин, — и я не знаю, каково будет её расположение. Если госпожа моего сердца окажется не в духе, то я ваш.

Он дружески поклонился молдавскому поэту, и они расстались

### II.

С двумя друзьями-офицерами Пушкин обедал в тот день в верхнем городе. Здесь находился «зеленый трактир», куда любил заходить Пушкин. Молодая служанка Мариула подала рус-

---

<sup>1</sup>Часть рукописи отсутствует. Название главы неизвестно.

ским гостям обед, с улыбкой отвечая на шутки Пушкина. Щедрая молдавская осень завалила Кишинёв своими изобильными дарами; гости взяли на пробу молодого вина, и Пушкин, пошептавшись с босоногим братишкой Мариулы, послал его куда-то с запиской.

— Спой нам, Мариула, — попросил Пушкин. — Спой мою любимую.

Мариула не заставила себя долго ждать. Из-за столика в углу поднялся цыган со скрипкой, поклонился господам и приложил скрипку к плечу. Мариула подбоченилась и встряхнула своими смоляными кудрями. Зазвучала музыка.

То была гордая и страстная песня, песня-вызов жестокому тирану-мужу, пеня во славу запретной любви.

Арде ма, фриде ма,  
На корбуне цуне ма, —

подпевал Мариуле русский поэт.

Эти слова означали: «Жги меня, жарь меня, на угли клади меня». И внезапно, не дав стихнуть последним нотам песни, скрипач перешёл на бурную плясовую, и Мариула пустилась в пляс. Пушкин не выдержал, выскочил из-за стола и стал плясать с девушкой бурную молдавскую пляску. Посетители трактира хлопали в ладоши, отбивая ритм.

С залихватским жестом скрипач доиграл и плавно откинул руку. Пушкин сел за стол и взял стакан вина. Босоногий мальчик, воротившись в трактир, подал ему надушенное письмо, написанное на розовой бумаге.

<...>

## Гл. VIII. Гаданье мадам Кирхгоф<sup>1</sup>

### I

Перед Аахенским конгрессом русским дипломатический чиновник Стурдза написал по поручению царя меморию о вольнодумстве в германских университетах, объявив их рассадникам атеизма и революционных идей. Эту меморию царь велел отпечатать малым тиражом в виде брошюры и вручить участникам Аахенского конгресса осенью 1818 года.

Вскоре, вопреки желанию Стурдзы, брошюру перепечатали газеты. Европа была возмущена, в немецких университетах поднялась буря. И вдруг в защиту этого доноса на просвещение выступил немецкий драматург Август Коцебу, самый плодовитый из авторов мещанского романтизма.

---

<sup>1</sup>Пометки автора:

Всё переделать.

Гаданье мадам Кирхгоф

(Далее следует «Хрустальная душа»).

Нуждается в сильной переделке:

1. Могла ли Ольга быть в театре, в своей ложе? (кокотка)
2. Черновики «Руслана» полнее (см.)
3. Плохо с переходами (переходы — авторские отступления).

Коцебу уже давно был тайным агентом русского правительства. Его апология доносительской мемории представлялась немцам верхом подлости; 23 февраля 1819 года в Маннгейме студент из Иены Карл-Людвиг Занд пронзил предателя кинжалом. Убийца был схвачен; Стурдза бежал из Германии.

Молодые карбонарии Петербурга были в восхищении от Занда.

О нем говорили в доме камер-юнкера Никиты Всеволожского 20 марта 1819 года.

В этот день состоялось первое заседание нового литературного общества у Всеволожского. Богатый театрал, любитель музыки и сам певец, он служил, как его ровесник Пушкин (обоим было по 40 лет), в Коллегии иностранных дел. Вернее, они вместе *числились* на службе. Жил Всеволожский на Екатерингофском проспекте. Шампанское у него лилось рекой.

Собрались за круглым столом, который освещала лампа с зеленым колпаком: два брата Всеволожские, Пушкин, Дельвиг, Фёдор Глинка, Гнедич, поручик Барков, занимавшийся переводом оперных либретто. Обстановка располагала к непринужденности: читали свои стихи, остряли, пели хором весьма рискованные песни. На участниках собрания были фригийские колпаки, столь памятные всей Европе по Французской революции и заседаниям Якобинского клуба четверть века назад. Говорили о женщинах, Шиллере, свободе.

— *Eudoxie est fraîche comme le premier muguet*, — говорил Никита Всеволожский, влюбленный в молоденькую актрису Авдотью Овошникову.

— Михаил Орлов всех обскакал, удостоясь фавёров иной Авдотьи, еще более знаменитой, — заметил Александр Всеволожский (старший брат).

— Любить приму — больше славы, чем радости, — возразил Пушкин. — Жертвовать своим досугом стоит лишь ради морвезок из кордебалета!

— Пушкин, арап наш ненаглядный! Прочти твою эпиграмму!

— *Si l'assistance voudra...*

— Просим!

Пушкин встал и продекламировал чрезвычайно озорную шутку «Орлов с Истоминой в постели...»

Её хлесткая концовка с микроскопом в руках любвеобильной прима-балерины вызвала гомерический хохот. От балерин, актрис и театральных воспитанниц перешли к театру вообще. Упомянули о новом спектакле — пьесе Августа Коцебу. Пушкин тотчас зажегся.

— Господа, мы должны опикать эту пьесу!

— Верно, верно! На наших подмостках нет места жалким фарсам шпиона и доносчика...

— Благородному Занду грозит неминуемая смерть...

— Занда не посмеют казнить смертию: молодая Европа вся схватится за оружие!

— А казаки на что? — насмешливо откликнулся Пушкин.

Расходились, напевая «Карманьолу».

Вскоре новое литературное сообщество упрочилось и получило наименование «Зеленой Лампы». Эту лампу Всеволожского по заказу сего небольшого клуба ювелиры изобрази-

ли на перстнях, ставших отличительной принадлежностью «лампистов». Лампа сделалась у них символом просвещения, что само по себе звучало дерзко в пору голицинского обскурантизма. Когда-то в общество вступил Яков Толстой, получивший для этого случая тайную инструкцию Союза Благоденствия, заседания «Зеленой Лампы» начали приобретать политический оттенок.

Пушкин несколько позже написал эпиграмму на Стурдзу:

Холоп венчанного солдата,  
Благодари свою судьбу:  
Ты стоишь лавров Герострата  
Иль смерти немца Коцебу.

Безотчетное томление, как всякую весну, бродило в крови Пушкина. Он никак не мог забыть недавно увиденную у президента Академии художеств Оленина юную красавицу — генеральшу Керн. Ей было 19 лет, а её мужу на тридцать три года больше. Пушкин хандрил, вспоминал ее неприступную холодность. С тоски ему взбрело вдруг в голову пойти в гусары.

— Жить не могу без коня и сабли! — говорил он Всеволожскому.

— Подумай, дорогой Пушкин! Это будет ложный шаг.

— Пушкин не может быть Чиновником, — заметил Александр Всеволожский. — Но что ему делать в дальнейшем, этого так просто не сообразишь. . . Слыхали вы о новой сивилле?

— Ты говоришь об этой немке? Её зовут. . .

— Ее зовут мадам Кирхгоф. Посоветуемся с нею!

## II.

Братья Всеволожские, Пушкин, актер Иван Сосницкий и офицер Павел Мансуров отправились к модной предсказательнице. Мадам Кирхгоф жила недалеко от Морской. На лестнице ее дома пахло аптекой и кошками. Старый слуга, весь в черном, отворил двери веселой компании и ввел в переднюю. Через пять минут гадалка приняла их.

Её кабинет, освещенный двумя кенкетами, производил мрачное впечатление: весьма натуральное чучело совы, «магический кристалл» (стеклянный шар для гаданья, именуемого «кристалломантией»), огромные фолианты с медными застежками. Зеркало было завешено крепом, на столе скалился череп.

А за столом сидела сама пророчица — старушка в чепце, с проницательными и умными глазками.

Стремясь побороть жуть этого логова, Пушкин выступил вперед и с учтивейшим светским поклоном произнес:

— Gut Abent, мадам Старая Карга!

Сивилла с достоинством ответила на поклон и указала на кресла:

— Willkommen, meine Herren, setzen Sie Sich.

Она, немного говорила по-французски, и дальнейший разговор вёлся на французском языке с сильным добавлением немецких слов.

Сперва она раскинула карты для Никиты Всеволожского.

— Вы баловень женщин, — сказала она, — но берегитесь: когда вы полюбите по-настоящему, ваша дама обманет вас. Если вы благополучно минуете этот кризис, то жизнь ваша будет долгой и счастливой. У вас будет четыре замка, ваш государь даст вам много милостей. Не открывайте никому своего сердца, ибо около вашего сердца стоит завистник, он может употребить во зло ваши тайны. . .

Друзья предложили «посоветоваться с судьбой» Пушкину, но он отказался:

— Погожу еще. Пусть к ней садится Сосницкий.

Актёр Сосницкий, приятель Никиты Всеволожского, занял место перед гадалкой; она внимательно посмотрела на него и стала раскладывать карты.

— Сударь, вы чрезмерно чувствительны! Вы скрываете свою натуру под маскою, но *карты знают всё*. Да, вы всю жизнь носите маску. . . играете множество разных ролей на великом театре жизни. Вас ожидает много венков и наград, но потом будет одна большая неудача. После нее вы оставите свое поприще, но вас вознаградят два принца — жизнь потечет спокойно, как река по плоской равнине — только опасайтесь раздражать чужестранную партию, ибо в этот случае вас ожидает беспощадная месть — и что я вижу! — даже дуэль.

Она бросила мгновенный взгляд на бледного Сосницкого.

— Also, dieser Duell, wird unglücklich? — с грехом пополам соорудил он немецкую фразу, отирая липкий лоб

— Todunglücklich, — ответила гадалка.

Сосницкий встал и с кривом улыбкой пробормотал в сторону:

— Экой вздор!

Его место занял Пушкин.

Гадалка мгновенно оценила изящество его позы, его красивые руки с длинными, тщательно обточенными ногтями и особое отношение к нему товарищей. Разложив карты, она с изумлением сказала:

— О, это голова важная! Сударь, вы человек не простой.

Друзья Пушкина переглянулись.

— Скоро вы получите деньги, но это безделка, *une bagatelle*. Вас ожидает неожиданное предложение. Кажется, лучше вам не соглашаться на это предложение, не то попадете в беду. . . А на другом, безопасном пути вас ожидают слава и почести. Сograждане воздвигнут вам памятник при жизни в Пантеоне вашего отечества!

Пушкин покраснел. Внезапно тон гадалки изменился:

— Но у вас скоро появятся могущественные враги. Вам придется уехать. Да, я вижу изгнание. Нет, два изгнания! Вас спасут, женщины, хотя вы не придаете им важности. Жить вы будете долго, если только через два года после середины жизни с вами не случится никакого беды от *белой головы*. . .

— Was? — спросил пораженный Пушкин. — Ich verstehe nicht.

— Weisser Kopf oder weisser Mensch, — отвечала мадам Кирхгоф, напряженно вглядываясь в карты. — Peut-etre, weisser Ross... cheval...

— Белая лошадь или белый человек — подсказал Павел Мансуров.

Пушкин встал в задумчивости.

Щедро заплатив «сивилле», компания поужинала у Андрие, лучшего ресторатора Петербурга. Спорили о гадалке и о гаданиях вообще. Никита Всеволожский полагал, что её дар истинный и что карты, равно как и звезды, способны открывать завесу судьбы. Пушкин скептически улыбался.

Вернувшись домой, он нашел на своем столе конверт с пятью печатями (так пересылались тогда денежные письма). Сломав печати, он обнаружил несколько крупных ассигнаций и коротко-ласковое письмо от Корсакова, лицейского товарища: тот просил Пушкина простить его опоздание с уплатой давнего карточного долга.

— Бог мой, я и думать забыл об этом долге! — пробормотал Пушкин.

Предсказание мадам Кирхгоф начало сбываться.

### III.

В Большом Театре Пушкина подозвал генерал Орлов — не Михаил Орлов, а его брат Алексей Федорович, командир конно-гвардейского полка.

— Дорогой друг, — сказал Орлов, — зачем вам идти в гусары? Да, я слышал о вашем намерении. Всё это бредни! Идемте ко мне, в конную гвардию!

— Благодарю вас, генерал...

— Я сделаю из вас лихого гвардейца.

— Позвольте мне подумать.

Подошел Кисилёв, блестящий молодой генерал, пожал руку Пушкину:

— Она здесь, — тихо сказал он. — Достоверно, что её откупщик получил отставку.

В это время из кресел раздался знакомый голос:

— Пушкин!

Он встрепенулся. Лучший лицейский друг Иван Пущин сдедал ему знак. Извинившись перед собеседниками, Пушкин поспешил к нему.

— Любезный друг, — сказал Пущин, — ну, что за охота тебе возиться с этим народом? Орловы, Киселёвы, Чернышёвы, спесь, улыбки свысока — да ни в одном из них ты не найдёшь сочувствия! Они просто позволяют себя развлекать... Право, ты изменяешь благородству своего характера.

— Не сердись, Жанно! — сказал он, обнимая друга. — Они нужны мне ради женщин: третьего дня Киселёв представил меня Оленьке Масон...

Он щекотал Пущина, пока тот не засмеялся. Слегка смущенный, Пушкин вернулся к светским львам с густым эполетам. Звезда петербургского полусвета мадмуазель Масон как раз появилась в своей ложе.

Она казалась моложе своих двадцати двух лет. Её нежная, невинная красота сочеталась с исключительной опытностью.

— Взгляните на это ангельское личико! — улыбаясь, сказал Киселёв. — Кажется, нарисовано кистью Альбана, n'est-ce pas? И этот ангел знает такие кунштюки, что самого Аретина заткнула бы за пояс. Первая в своем деле искусница!

— Следовало бы выбить медаль в её честь, — сказал Пушкин.

И он с серьезным видом предложил такой проект медали, что генералы не смогли сдерживать хохота, хотя спектакль уже начался. А Пушкин отправился поздороваться с Ольгой Массон.

— Поздравляю вас, божественная!

— С чем, господин Пушкин?

— Со свободой. Вы дали отставку своему Крезу?

— Мне просто надоели вечные жалобы на плохие курсы и министра финансов. Эти миллиончики не должны быть принимаемы в приличных домах: хватит с них и матросских девок.

Пушкин засмеялся, пленённый её цинизмом. Затем, понизив голос, спросил:

— Adorable, souvenez? Вы обещали мне. . .

— Ah, mon Dieu! — рассеянно отвечала она, наводя на сцену золотой лорнет. — Je sais pas. . .

Пушкин скрестил руки на груди, уперся подбородком в галстук и замогильным голосом процитировал стих из Вольтерова «Танкреда» в переводе Гнедича:

— «Быть может, некогда восплакнешь обо мне!»

Она не выдержала и засмеялась, привлекал неодобрительное внимание.

— Несносный Пушкин, вы мешаете слушать пиесу.

— Alors, veuillez — vous fixer votre date?

— Eh bien, dans un mois on verra.

Более точного обещания он не добился.

#### IV.

Май того года выдался жарким. Каверин 7-го числа устроил у себя на квартире пирушку, пригласив Щербинина, Олсуфьева и Пушкина. Шампанское было поставлено в лед за сутки вперед. Вечер удался на славу. Все окна были распахнуты, и случайно Каверин заметил, что по улице проходит его «дежурная Лаиса». Высунувшись в окно, он позвал её.

Взошла сильная и крепкая девушка лет двадцати, настоящая гусарская подруга. Выпив несколько бокалов, она раскраснелась.

— Жарко, Петруша, мочи нет. . .

— Разденься, душка, не чинись: тут все свои.

Она не заставила себя долго упрашивать; осталась в одной сорочке. Пот проступал сквозь её полотно большими пятнами, сорочка липла к телу, вид получался соблазнитель-

ный. Девушка опьянела, презабавно ругалась к общему восторгу мужчин. В подражание им она попыталась закурить, но сразу позеленела и выронила чубук. Каверин отнес её в спальню.

— Пушкин, напиши стихи об этом вечере! — просил Щербинин.

— И впрямь, напиши-ка, Саша, пусть останется память.

— Ну, что тебе стоит?

Он взял лист бумаги и написал: «7 мая 1819 года».

— Silence! — крикнул он.

Каверин снял со стены саблю и встал на караул, вытянувшись в струну: он практически не пьянел. О его способности пить ходили легенды; в ту эпоху это признавалось большим достоинством.

— Ехали бояре, кошку потеряли, — забормотал Олсуфьев.

— Уши отрублю! — пригрозил Каверин. — Молчать, когда Пушкин сочиняет.

Вскоре поэт отбросил перо и прочел:

Веселый вечер в жизни нашей  
Запомним, юные друзья;  
Шампанского в стеклянной чаше  
Шипела хладная струя  
Мы пили — и Венера с нами  
Сидела преля за столом. . .

Непристойная концовка снова вызвана шумное веселье.

Пушкин уехал вместе с Щербининым и дорогой спросил его:

— Есть у тебя испанский плащ?

— Есть, а зачем он тебе? Представлять на театре Дон-Жуана?

— Ты почти угадал. Ольга, наконец, сказала наверняка — завтра в 11 часов вечера.

На сей раз не обманет.

На другой день он принял холодную ванну, два часа провел за туалетом и послал слугу к Щербинину за плащом. Эти широкие испанские плащи были тогда в большой моде. После ужина он немного вздремнул, затем вновь умылся, оделся и отправился к Ольге.

Надвинув на брови боливар и перекинув через плечо край широкого плаща, он постучал у дверей девицы Массон.

На момент в окне колыхнулась занавеска.

Ему не отворяли.

Пушкин постучал сильнее. Внутри шептались. Потом раздался недовольный голос служанки:

— Кто там?

— Отвори, мне назначено время.

— Барыни дома нет.

— Где ж она?

— Не могу сказать — кажись, уехала к куме на именины.

Взбешенный насмешкой, Пушкин принялся стучать изо всех сил. На шум вышел будочник, Пушкин дал ему рубль; начинал накрапывать дождь. Темноты в эту пору года не бывает на Неве — стояла белесая муть.

Он стучал и прислушивался. Плащ его постепенно намокал. Доме было тихо, более не шептались и вообще не шевелились.

Вынув брегет, он нажал на головку: часы прозвонили полночь. Он сел на ступени крыльца, не обращая внимания на усиливающийся дождь. Его мучила ревность, он жалел, что не взял с собой пистолета.

Потом опять стучал, звал Ольгу, заклинал и угрожал.

Обычный петербургский дождь превратился в страшный ливень. Пушкин промок до нитки, но теперь ему представилось унижительным сбежать от непогоды.

Он более не грозил, он кротко укорял Ольгу, умоляя впустить и согреть его.

В 3 часа дождь кончился, и Пушкин ушел во-свояси.

Он был ошеломлен и обижен, как ребенок. Ревность вдруг угасла, Ольга стала еще желаннее. Поймав ночного извозчика-чухонца, он добрался до дома.

Раздеваясь, приказал сонному слуге приготовить пунш.

На столе его лежал набросок со словами: «Ольга, крестница Киприды». Пушкин лег в постель и начал писать, продолжая этот набросок:

Ольга, крестница Киприды,  
Ольга, чудо красоты,  
Как же ласки и обиды  
Расточать привыкла ты!

Давно сияло утро (то было время белых ночей), а Пушкин все попивал пунш и в стихах упрекал Ольгу за ее обманы.

На другой день барон Дельвиг получил записку, нацарапанную дрожащей рукой: «Frere, je suis malade. A. P.»

Дельвиг помчался к другу и застал его в бреду и беспомощности. Барон вызвал врача, который нашел у Пушкина горячку. На столе, составляя рецепт, врач увидел стихотворение и пробежал его глазами:

— Кто сия Ольга, которую наш пациент воспекает в стихах?

— Вероятно, мадмуазель Массон, — ответил Дельвиг, — он давно за ней гоняется.

— Ольга Массон? It's very amusing... презабавно, я хотел сказать.

Врач был англичанин.

— Что ж тут забавного? — нахмурился Дельвиг.

— Забавного то, что мой коллега пользуется её от неназванной хвори, — холодно ответил врач.

При этих словах Пушкин открыл глаза.  
Он понял, почему Ольга не впустила его.  
Дельвиг провел возле него сутки, подавая микстуру в назначенные часы, читая его рукописи и листая книги. Послание к Ольге по-прежнему лежало на столе.

Ради резвого разврата,  
Приапических затей,  
Ради неги, ради злата,  
Ради прелести твоей,  
Ольга, жрица наслажденья,  
Внемли наш влюбленный плач —  
Ночь восторгов, ночь забвенья  
Нам наверное назначь.

Пушкин понял, что Ольга пожалела его — значит, любила. Успокоенный, он благополучно миновал кризис своей болезни и начал выздоравливать. Но врач запретил ему выходить из дому до его дозволения.

В конце июня Дельвиг и Баратынский отправились на Фонтанку навестить Пушкина. Ему было лучше, но он еще не выходил.

Они поднялись по лестнице, слуга отворил им дверь, и молодые поэты вошли в знакомую комнату, поражающую сочетанием бедности и последней моды.

К раме треснувшего зеркала была пришпилена увядшая дамская перчатка, на подзеркальном столике теснились дорогие духи, наилучшие туалетные принадлежности, гребни, щетки, пилки для ногтей; на полу были рассыпаны карты. Иконы не было, зато на стене висело «Купанье Дианы». На кровати с пером в руке лежал изжелта-бледный Пушкин в полосатом бухарском халате и в ермолке, покрывавшего его выбритую голову.

Он любил писать лежа. К самой кровати был придвинут стол с книгами и бумагами, на краю его стояла чернильница. Когда вошли гости, Пушкин не обернулся и продолжал несколько минут лихорадочно писать. Затем он с размаху воткнул перо в чернильницу и бросил рукопись на стол.

Обернувшись к вошедшим, он подал им сразу обе руки:

— Здравствуйте, братцы!

Дельвиг сел в ногах постели, Баратынский — в старое вольтеровское кресло. Пушкин велел слуге подать трубки, табачницу и огня. Вскоре комната наполнилась густым ароматным дымом.

— Что ты писал, Француз? — спросил Дельвиг.

— «Руслана», мой милый.

Пушкин взял рукопись и вслух стал читать четвертую песнь:

Я каждый день, восстав от сна,  
Благодарю сердечно бога

За, то, что в наши времена  
Волшебников не так уж много.  
К тому же — честь и слава им! —  
Женитьбы наши безопасны. . .  
Их замыслы не так ужасны  
Мужьям, девицам молодым.  
Но есть волшебники другие,  
Которых ненавижу я:  
Улыбка, очи голубые  
И голос милый — о друзья!  
Не верьте им: они лукавы!  
Страшиться, подражая мне,  
Их упоительной отравы,  
И почивайте в тишине.

При словах «подражая мне» слушатели расхохотались.

— Голубые очи Ольги Массон! — вскричал Дельвиг.

Пушкин толкнул его пяткой и продолжил чтение.

Далее у него шло обращение к Жуковскому:

Поэзии чудесной гении,  
Певец таинственных видений,  
Любви, мечтаний и чертей,  
Могил и рая верный житель,  
И музы ветреной моей  
Наперсник, пестун и хранитель!  
Прости мне, северный Орфей,  
Что в повести моей забавной  
Теперь во след тебе лечу  
И лиру музы своенравной  
Во лжи прелестной облину.

Следовало притворно-почтительное напоминание о «Двенадцати спящих девах»: половина четвертой песни представляла собой тонкую пародию на эту поэму Жуковского.

— Василию Андреевичу не понравится, — заметил Баратынский.

— Понравится! — отозвался Пушкин. — Начало он уже слышал и наговорил мне тьму лестных вещей. . .

— Жуковский — не человек, а золото, — подтвердил Дельвиг. Жаль только, что в политике он совсем уж робок. Ходатай гуманности, но не более.

— Говорят, он сильно бранил Занда, — заметил Баратынский.

— Дельвиг, душа моя! — вскричал вдруг Пушкин. — Достань-ка из шкапа большой портфель.

Он вынул из-под подушки ключик:

— Отомкни замок.

Дельвиг открыл «портфейль» и вытащил пачку английских карикатур — на герцога Веллингтона, царя Александра, короля Людовика XVIII. Там же была и нарисованная от руки карикатура: граф Аракчеев на четвереньках, взнузданный сидящей на нем толстой женщиной в костюме Евы.

— Наська, la dompteuse des betes sauvages! — провозгласил Пушкин. — Но ты не сыскал главного. Дай-ка портфейль.

Он порылся в нем и вытащил портрет юноши с мечтательным лицом.

— Карл Занд! Чаадаев подарил третьего дни.

Три поэта в молчании любовались лицом героя.

— Вот кем я хотел бы быть! Надоела собачья комедия нашей литературы. Один удар — и Занд уже в вечности. Чертова немка нагадала мне славу, но какую? Она ничего не посоветовала!

— Оставайся лучше Пушкиным — сказал Баратынский.

— Нет, кинжал вернее пера. От Брута до Занда, всюду на авансцене истории блещет трагик, произносящий самое решительное слово на языке кинжала! — вскричал Пушкин, вскакивая на ноги среди кровати.

— Пустое красноречие. Твое место Парнас, а не эшафот.

— «Le crime fait le hotre, et non pas l'échafaud», — процитировал Пушкин, завернувшись в одеяло и делая трагический жест.

— Тыфу ты, пропасть! — рассердился Дельвиг. — Пойдем, Баратынские, мы попали к ученому болтуну, профессору элоквенции! Пойдем искать по кабакам славнейшего поэта нашего времени!

Пушкин захохотал и бросился его обнимать.

Он знал себе цену. Слава его росла не по дням, а по часам, и ещё отнюдь не сравнялась со славою его предшественников.

## Окончание главы «Петербургские театралы»

Когда он сделался уже вишневого цвета, пришлось послать за лекарем и пиявками, однако «неблагополучный сын» победил, и Сергей Львович купил ему башмаки с пряжками.

Будучи всецело под обаянием такого дэнди, как Чаадаев, Саша Пушкин чрезвычайно заботился о своем костюме и наружности. Пятно на платье выбивало его из строя, как рыцаря на турнире — расколотый шлем. Ведь жилет, галстук, фрак, обувь составляют доспехи современного паладина, без коих недостижимо внимание общества и благосклонность дам. Боже, как алкал он того и другого в свои восемнадцать лет!

В январе 1818 года Пушкин заболел «гнилой горячкой». Приглашенный к нему придворный медик Лейтон был сильно озабочен; он решил на самые крайние средства — сажал

больного в ванну со льдом. Несмотря на это, Пушкин все же выздоровел. После шести недель пребывания взаперти он вышел на волю, бледный, с обритой головой и в парике. В петербургском воздухе уже пахло весной.

И вот тогда-то перед Пушкиным во всем своем мрачном величии возникла проблема фрака.

У него уже были кое-какие долги, а в сношенном фраке он не мог появиться ни у Ночной Княгини, ни у графини Лаваль, ни в театре. Проблема не решалась в обход отца.

Вот почему ученик Вольтера и Парни, в глубина души уже тогда скептик и *невер*, Саша Пушкин решил скрепя сердце говеть вместе с родителями на Страстной неделе.

Пушкины говели в церкви театрального училища, что на Офицерской улице. Так что в его вынужденном послушании и притворной набожности была и светлая сторона — близость множества прелестны юных существ, которые вскоре могли прогреметь на подмостках Петербурга.

Надежда Осиповна Пушкина, смолоду прозванная *la belle Creole*, все ещё стремилась нравиться и блистать в свете; заложив жемчуга, она сшила к Пасхе роскошное платье. Ценой мучительных усилий добилась себе обновы и Ольга, сестра поэта, давно уж на выданьи. Александр, тихий и благостный, явился на всенощную великой пятницы в новом фраке: награда за добродетель. Сергей Львович вздыхал, озирая свое расточительно нарядившееся семейство, но эти вздохи вполне могли быть отнесены окружающими на счет страстей Христовых. Служба приближалась к своей кульминации, уже запели «Благообразного Иосифа», а Пушкин целиком ушел в созерцание одного небесного создания, молившегося подле Пушкиных вместе со своей матерью. Это была грациозная девочка лет шестнадцати, он видел её раньше на «чердаке» князя Шаховского, готовившего её к дебюту: ее звали Саша Колосова. Как жаль, что она с матерью, чертовски жаль!

Начался вынос плащаницы.

Плащаница — большой квадрат шёлка с изображениями умершего Спасителя, орудий его страданий, погребавших его святых Иосифа и Никодима, а также Богоматери и святых жён-мироносиц. Вот она выносится из алтаря на середину храма, на особливо приготовленный помост. Тропарь «Благообразный Иосиф», «Егда снишел еси ко смерти» и «Мироносицам жёнам», напоминают о погребении, сошествии во ад и ангельском благовестии женам-мироносицам о воскресении Христа. Напряжение верующих достигает предела, разрешаясь патетическим экстазом скорби. По тонким розовым щекам Сашеньки Колосовой катятся крупные слёзы. Пушкин растроган этими чистыми слезами наивной веры.

— Ольга, послушай! — шепчет он сестре. — Передай Саше Колосовой. . .

— Чего тебе? — недовольно косится сестра.

Графиня Ивелич, соседка Пушкиных с Фонтанки, неодобрительно смотрит на него, но он не унимается:

— Скажи Колосовой, что мне больно видеть её горечь.

Любимая старшая сестра колеблется.

— Напомни ей, что Спаситель всё равно воскрес, так о чём же ей плакать?

Графиня Ивелич грозит ему пальцем:

— Вы несносны, Александр! Можно ли думать о хорошеньких девочках при выносе плащаницы?

— Катерина Марковна, голубушка! — слёзно отвечает он. — Стоит ли к страданиям Христа прибавлять и мои страдания?

Графиня прячет улыбку, Ольга закрывает лицо платном и мелко трясется — но не от плача. Надежда Осиповна оглядывается, хмурия свои соколиные брови, но на лице её сына написано только набожное умиление.

Он до конца не спускает глаз с Колосовой. Но после всенощной, уже выходя из церкви, Пушкин вдруг видит, как по вмиг раздавшемуся живому коридору плывет ослепительная женщина. Как он ранее не заметил её? Видимо, она находилась впереди и была скрыта толпой.

Куда там Саше Колосовой до такой красавицы! Она высока и стройна, синее бархатное платье подсказывает глазу красоту её стана. Какой неслыханно нежный цвет лица! Огромные синие глаза на мгновение обожгли взволнованное лицо Пушкина и небрежно скользнули далее: он ощутил боль в сердце и минутную нехватку дыхания. И при этих синих глазах у неё чёрные, как смоль, волосы в которых сверкает бриллиантовый гребень. Дама почти не смотрит вокруг, усиливаясь быть скромной.

— Кто эта дама, Катерина Марковна?

Графиня Ивелич с насмешкой взглянула на его несчастное лицо.

— Не узнаете, Александр? Но ведь это девица Семёнова из оперы.

И в самом деле, это была Нимфродора Семёнова.

Пушкин поник головой. «*Девица Семёнова*» — в этих словах звучал особый оттенок.

Выйдя из церкви, он ещё видел, как ливрейный лакей откидывал подножку кареты, как на миг мелькнул под синим платьем изящный узкий башмачок: Нимфрода села в карету, и удивительные лошади резво взяли с места.

— Чем не герцогиня? — пропищал насмешливый голосок какой-то барышни.

— Вы хотите сказать — *графиня*, — возразил мужской голос.

Послышались смешки. Остряк намекал на сожительство оперной девы с графом Мусиным-Пушкиным, который окружил её азиатской роскошью.

Завистливо и печально думал об этом Пушкин. Образ статной красавицы с синими глазам спустился с облаков на Землю и приобрёл двусмысленную, соблазнительную окраску.

Нимфодора ему не по карману: он просто Пушкин, не Мусин.

Зато он вскоре свёл знакомство с Сашей Колосовой, приобрёл связи в театральном училище, нашел людей, которые за деньги могли передавать любовные записки, освоился за кулисами и сделался завзятым театралом.

Какой это был партер — Крылов, Шаховский, Оденин, Грибоедов, Пушкин, Катенин, а там и генералы, и гусары, и большой свет! Русский театр не мог пожаловаться на недостаток публики.

Ещё не был по-настоящему переведён Шекспир, ещё не написал своей комедии Александр Грибоедов, Сухово-Кобылину не было года, Островский ещё не родился.